

AMY HARMON

ЭМИ ХАРМОН

*Where
the lost
wander*

*Тем-
ные
сердца*

CLEVER
•ИЗДАТЕЛЬСТВО•

*Посвящается моему мужу,
прямому потомку настоящего Джона Лоури,
и воздю Вашаки, который предсказывал,
что о нем будут писать книги*

Пролог
Наоми

КОЛЕСО РАЗВАЛИЛОСЬ. С тех пор как мы отправились в путь в мае, это случалось уже не раз: то ось отвалится, то обод треснет. Но сейчас перед нами лежит долгий путь через сухую землю, где нельзя даже дать животным попасться, — не лучшее место для стоянки. Однако выбора у нас не было. Папа и мой брат Уоррен уже много часов возятся с колесом, а мистер Бингам помогает им. Уиллу и Уэббу велено высматривать Уайатта и Джона, но стоит ясный, солнечный и теплый день, так что мальчишки играют в прятки среди камней и колючих кустиков шалфея, гоняясь друг за другом. Я им не мешаю. У меня нет сил, чтобы ругаться или искать им занятие получше. Уилл держит в руках лук — подарок Джона. Я смотрю, как мой братец целится в воображаемого врага. Стрела срывается с тетивы, свистит в воздухе и летит куда-то вниз, в овраг. Уилл уверенно и метко выпускает еще несколько стрел, а потом ныряет за очередной каменистый выступ. Уэбб следует за ним по пятам, как верный щенок, с нетерпением ожидая своей очереди. В последние несколько недель почти все время светило солнце. Я бы не отказалась от прохладного ветерка или даже снежных хлопьев, которые можно поймать языком, хотя зима совсем не подходит для путешествия в повозках.

Младенцы тоже не подходят, но прямо сейчас Элси, жена Гомера Бингама, рождает, лежа в своей повозке,

пока мужчины пытаются починить нашу. Караван ушел вперед. Нас обещали подождать у ручьев, до которых якобы всего день пути, нужно только догнать остальных по колее. Но мы и так уже на добрую милю отошли от основной колени: прошлым вечером пришлось свернуть с дороги, чтобы найти воду и пастбище. Вот тогда-то у папы сломалось колесо, а Эли Бингам объявила, что ни шагу больше не сможет пройти. Ей все равно придется идти дальше. Не сегодня, но завтра точно. Придется снова перебираться через перевалы и переправляться через реки. Когда мама родила малыша Ульфа, она уже на следующий день была на ногах.

Я молилась, чтобы Бог послал мне сестренку. Как же я молилась! У мамы и так уже было четыре сына, а я не смогу оставаться с ней всегда. Мне двадцать, я уже успела выйти замуж и овдоветь, к тому же, когда мы доберемся до Калифорнии, я займусь собственными планами. Маме нужна была еще одна дочь — те, что умерли в младенчестве, не считаются, — чтобы помогать по хозяйству, когда я не смогу этого делать. Увы, мои молитвы не были услышаны: Господь послал маме еще одного сына, а мне еще одного брата. Но я недолго предавалась разочарованию. Стоило мне увидеть малыша Ульфа, который корчился, заливался плачем и боролся за каждый вдох, и я приняла его. Это был мой ребенок. Наш. Часть семьи.

— Он так похож на тебя в детстве, Наоми! — воскликнула мама. — А что, он вполне мог бы сойти за твоего собственного ребенка.

Мне и впрямь с самого начала казалось, что это мой сын, но, лишившись мужа, обремененная заботами о братьях, я не задумывалась о том, когда сама заведу малышкой. Однако мама говорит, что уже много лет видит во сне моих детей.

Маме снятся очень яркие сны. Папа говорит, что это видения, как у Иосифа в Библии, того самого, что носил разноцветный плащ и был продан в рабство в Египет. Отец даже купил маме плащ как у Иосифа — из овечьей шерсти, раскрашенной в разные цвета и сотканной в единое полотно, — чтобы ей было что надеть по пути на Запад. Та пожурела его за лишние траты, но явно была рада.

Погода стоит жаркая, но мама по-прежнему не снимает плащ. Ей все время холодно, а малыш Ульф вечно голоден. Она говорит, что ее старое изношенное тело не готово было выкармливать еще одного ребенка. Но Господь рассудил иначе. Господь и наш папа. Я сказала отцу, что пора бы оставить маму в покое. Я искренне хотела промолчать, но иногда стоит мне что-то подумать, и слова сами срываются с губ. Папа до сих пор меня не простил, а мама страшно ругалась:

— Наоми Мэй, если я захочу, чтобы мой муж оставил меня в покое, мне ничто не мешает самой ему об этом сообщить!

— Я знаю, мам. Ты всегда говоришь что думаешь. Я вся в тебя.

Это ее рассмешило.

До меня доносится голос мамы. Она говорит бедняжке Эли Бингам, чтобы та встала на колени. Я прячу в сумочку блокнот в кожаном переплете и карандаш, беру Ульфа и несу его к Герте, нашей козе, которая пасется вместе с выпряженными из повозок волами. Мама попросила меня забрать малыша: его плач нервировал Эли, да и места мало. Трава вокруг дороги редкая, и все, что здесь росло, уже съедено под корешок. Между камней пробивается ленивый родничок. Животные столпились вокруг него.

Я дергаю Герту за вымя, но та даже не поднимает головы от мелкой лужицы, из которой пьет. Я ловлю в ладонь теплую струйку молока, обтираю им вымя, а потом подношу Ульфу к козе, чтобы его голодные, изогнутые в форме лука губки обхватили сосок. Если присесть и положить малыша к себе на колени, можно доить животное и кормить ребенка одновременно. Со временем я успела приловчиться, а Герта привыкла и уже не пытается убежать. Я никогда раньше не встречала таких покладистых коз; обычно они возмущенно вопят, точно израильтяне, когда Моисей уничтожил их золотого тельца.

Герта блеет, чем сбивает меня с толку. Я замираю. Звук повторяется. Это не Герта.

— Элси родила, — говорю я малышу Ульффу.

Тот смотрит на меня снизу вверх. Мама говорит, что со временем его глаза станут такими же зелеными, как у меня.

— Слава богу, — выдыхаю я.

Моим словам вторит мистер Бингам.

— Слава богу! — гремит его голос.

Мужчины выпрямляются, забыв про сломанное колесо. Папа издает торжествующий возглас и хлопает мистера Бингама по спине, радуясь за него и бедняжку Элси. До меня доносится еще один клич. Я не обращаю внимания — меня отвлекает малыш, который вертится у меня на коленях, и мысли о новом младенце, только что пришедшем в мир. Наверное, это Уэбб и Уилл присоединились к общему ликованию. Стоит мне подумать об этом, как я встревоженно вскидываю взгляд. Нет, звуки не похожи на голоса моих братьев. Кругом холмы, овраги и валуны — множество мест, где можно спрятаться. Из-за ближайшего утеса возникают индейцы верхом на лошадях — вооруженные копьями, украшенные

перьями — и обрушиваются на нас. Один из воинов окровавленными руками зажимает рану на животе, из которой торчит стрела. Я цепенею, не веря своим глазам. Не мог ли Уилл случайно его подстрелить?

Герта вырывается и убегает. Я успеваю заметить, что молоко продолжает капать из вымени, оставляя влажные следы на сухой земле. Волы тоже разбегаются, а я не могу пошевелиться. У меня на глазах индейцы набрасываются на папу, Уоррена и мистера Бингама. Взъерошенные, с закатанными рукавами и пыльными потными лицами, мужчины успевают лишь растерянно уставиться на налетчиков. Отец падает, даже не вскрикнув, Уоррен пятится, протестуя выставив перед собой руки. Мистер Бингам пытается прикрыть голову, но безуспешно: дубинка с жутковатым звуком разбивает ему лицо, и он падает ничком в придорожные кусты.

Я прижимаю Ульфу к груди, застыв с разинутым ртом. Передо мной вырастает воин. Его волосы развеваются, обнаженный торс блестит, а рука сжимает дубинку. Я хочу зажмуриться и зажать себе уши, но оцепенение не позволяет мне этого сделать. Я могу лишь смотреть прямо на него. Он издает яростный вопль и заносит дубинку. Я слышу, как меня зовет мама: «Наоми! НА-О-МИ!» Но последний слог резко обрывается.

Меня сковал лед, но уши горят огнем: каждый крик боли и каждый победный клич достигают моих барабанных перепонки и отзываются многократным эхом. Воин пытается вырвать у меня Ульфу, но я не отпускаю — не потому что сильная, просто руки окаменели от ужаса. Я не могу отвести взгляд от своего палача. Тот что-то говорит, но для меня его речь лишь набор бессмысленных звуков. Я продолжаю смотреть. Воин заносит дубинку над моей головой.

Я прижимаюсь щекой к кудрявой макушке Ульфа. Тупой безболезненный удар оглушает и ослепляет меня.

Время ускоряется и вновь замедляется. Мое собственное дыхание отдается у меня в ушах. Я чувствую, как прижимаю к груди Ульфа и в то же время будто поднимаюсь над собственным телом и откуда-то сверху вижу последствия резни. Папа и Уоррен. Мистер Бингам. Индеец со стрелой в животе тоже мертв. Разноцветные перья трепещут под мирным синим небом. Это и впрямь стрела Уилла. Теперь я в этом уверена, но я нигде не вижу ни его самого, ни Уэбба.

Мертвого индейца закидывают на спину лошади. Мрачные лица его спутников искажены гневом. Они ничего не берут из повозок: ни муку, ни сахар, ни бекон. Не берут и волов, которые остаются мирными даже посреди резни. Но остальных животных индейцы уводят с собой. И меня. Меня и малыша Ульфа. Повозки они сжигают.

Усилиями воли я пытаюсь подняться ввысь, к небу, где меня ждут мама, папа и Уоррен. Некоторое время я провожу в блаженном забытии, в полупрозрачном бреду. Но я не умерла. Я иду вперед, по-прежнему держа Ульфа на руках. Что-то дергает и тянет меня вниз, сокращая расстояние между моим парящим сознанием и шагающим телом. Натяжение усиливается, и я понимаю, что у меня на шее веревка. Вербка натягивается, когда я спотыкаюсь, и снова ослабевает, стоит мне выпрямиться. На негнувшихся ногах я бреду следом за пегим пони. Пятна на его крупе напоминают кровь, которая пропитала парусиновые стены повозки Бингамов. Как же много было крови! И криков. Крики, вопли... А потом тишина.

Сейчас тоже тихо, и я не знаю, как долго иду в этом странном полузабытии, глядя перед собой

невидящим взглядом, прячась от осознания происходящего. Внезапно накатывает жуткая тошнота. Она застаёт меня врасплох. Я падаю на колени, и каша, которую я съела на завтрак много часов назад, оказывается на земле. Травинки, над которыми я наклонилась, щекочут мне лицо. Ульф заходится плачем. Вербка у меня на шее натягивается, и перед глазами все плывет. Чья-то рука хватается меня за косу, заставляя приподняться. Индейцы начинают спорить между собой, выхватив оружие. Ульф все кричит не умолкая. Я прижимаю его к груди, трусь щекой о его щеку и говорю ему на ухо:

— Тише, Ульф.

Звук моего голоса пугает нас обоих. Я не знаю, почему до сих пор жива. И почему жив Ульф. Моя кожа горит в ожидании боли. Я готовлюсь к тому, что в любую секунду мне рассекут лоб клинком. Этого не происходит. Я поднимаю взгляд на ближайшего индейца. Тот с шипением подносит кончик ножа к моему лицу, чуть ниже правого глаза. Я чувствую боль от укола. Из ранки выступает кровь. Тяжелая капля медленно ползет вниз по щеке. Его спутники улюлюкают, и эти крики заглушают плач Ульфа. Я вскакиваю на ноги и пытаюсь бежать, но веревка на шее дергает меня назад, и я падаю в собственную рвоту.

Человек, который порезал мне щеку, снова прыгивает на лошадь. Мы продолжаем путь. Теперь с высоты за мной наблюдает лишь мой собственный страх, сама же я проваливаюсь в милосердное оцепенение. Ни мыслей, ни боли. Я по-прежнему держу брата на руках, а где-то там, у меня за спиной, вместе с дымом горящих повозок растворяется в небе вся моя жизнь.

Май 1853

Джон

ОНА СИДИТ НА КРАЕШКЕ бочки прямо посреди широкой улицы — желтое платье и белая шляпка придают ей сходство с цветком — и наблюдает за толпой прохожих. Все куда-то торопятся, пыльные и недовольные, а она сидит, чинно выпрямив спину, сложив руки на коленях, и смотрит на всех, как будто ей самой спешить некуда. Может, ей велено стеречь содержимое бочки. Впрочем, нет, я припоминаю, что бочка стояла здесь и вчера, и позавчера, и уверен, что в ней ничего нет.

У меня на голове новая шляпа, а на ногах новые сапоги. В руках я несу стопку холщовых рубашек и штанов, которые затолкаю в седельные сумки в довесок к кофейным зернам, табаку и бусинам, они пригодятся мне на пути в Форт-Кирни. Возможно, меня привлекает яркий цвет ее платья или женственная фигура, или просто дело в том, что она единственная сидит неподвижно посреди спешащей толпы. Так или иначе, я замираю, заинтригованно наблюдая за ней и перекладывая свою ношу из руки в руку.

Через несколько мгновений ее взгляд останавливается на мне. Я не отвожу глаз — не из гордости или высокомерия, хотя знаю, что отца, к примеру, раздражает мой прямой взгляд. Но я уставился на нее просто из чувства самосохранения: мне важно понять, с кем я имею дело. Она, похоже, удивляется, что я продолжаю смотреть. Потом улыбается. Эта приветственная

улыбка и красивые губы приводят меня в замешательство, и я отвожу взгляд. И тут же хмурюсь, осознав, что сделал. Я позволил ей сбить меня с толку, смутился, точно Котелок, мой мамонтовый осел. Я тут же вновь поднимаю взгляд. Шея горит, в груди становится тесно. Она спрыгивает с бочки и идет ко мне. Я слежу за ее приближением. Мне нравится грация ее движений, упрямый подбородок, но я знаю, что люблюсь впустую. Вероятно, она просто пройдет мимо, прошуршав юбками и похлопав ресницами, намеренно проявляя безразличие, как свойственно большинству красивых женщин. Но нет, она останавливается прямо передо мной и протягивает руку, продолжая улыбаться и спокойно смотреть на меня без малейшего кокетства.

— Здравствуйте. Я Наоми Мэй. Мой папа купил мулов у вашего отца, мистера Джона Лоури. Или вас обоих зовут Джон Лоури? Кажется, папа что-то такое говорил.

Ее ладонь перепачкана, кончики пальцев черные, а ногти короткие, как у меня. Грязная рука совсем не сочетается с ее аккуратным нарядом и светлой кожей. Она замечает, как я смотрю на ее пальцы, и слегка морщится. Закусывает губу, будто расстроена, что я заметил, но руку не убирает. Я не принимаю рукопожатие и не отвечаю на вопросы. Вместо этого я приподнимаю шляпу свободной рукой, чтобы приветствовать даму, но не касаясь ее.

— Мэм.

Она продолжает улыбаться, но руку опускает. У нее удивительно зеленые глаза, россыпь коричневых веснушек покрывает щеки и нос. Красивый прямой нос приятной формы. Да и все в ней приятно глазу. Мне хочется провести пальцем по собственному носу и нащупать горбинку на переносице. Я тут же чувствую

себя глупо. С чего вдруг мне сравнивать себя с хрупкой белокожей женщиной? Мы молча рассматриваем друг друга, и я вдруг осознаю, что не помню, о чем она спрашивала и что говорила. Кажется, я даже собственное имя успел забыть.

— Вы ведь мистер Лоури, верно? — помедлив, мягко уточняет она, будто услышав мои мысли.

Потом до меня доходит, что она просто повторила вопрос.

— Э-э, да, мэм.

Я снова приподнимаю шляпу, извинившись, делаю шаг в сторону и удаляюсь. С губ срывается тихое ругательство. Оно словно покалывает язык, но я сглаживаю и иду дальше. Я мужчина, мне свойственно обращать внимание на хорошеньких женщин. Тут нечего стыдиться и не о чем задумываться. Но она не просто хорошенькая. Она меня заинтересовала. Мне хочется оглянуться.

Сегодня в Сент-Джозефе царит суета. Стоит весна, караваны переселенцев готовятся отправиться на Запад. За прошедшие две недели мой отец продал больше мулов, чем за всю прошлую весну. Все хотят купить мулов Лоури, но мы уже распродали своих и за тех, что продаем сейчас, с которыми мы не работали, а просто выкупили, не отвечаем. Отец сразу говорит покупателям, что это не мулы Лоури, и отдает их дешевле. Интересно, какие животные достались ее отцу: наши или совсем зеленые, только что купленные с рук? Она знает, кто я такой, хотя я ее никогда раньше не видел. Я бы запомнил.

Я оглядываюсь. Ничего не могу с собой поделаться. Она смотрит на меня, чуть наклонив набок голову в шляпке, сцепив руки перед собой и прижав их к подолу слегка выцветшего желтого платья. Она снова улыбается, точно ее вовсе не расстроило, что

я отказался с ней разговаривать. Да и с чего ей расстраиваться? По мне и так видно, что она меня заинтересовала. Я чувствую себя последним болваном.

Она так и стоит посреди улицы. Вокруг нее куда-то торопятся прохожие, повозки и лошади, мужчины таскают мешки с мукой, женщины водят за собой детей. Она знает мое имя, и это почему-то меня тревожит, несмотря на то, что меня с самого детства зовут Джоном Лоури. Меня называли в честь отца, тоже Джона Лоури, хотя он меня стыдит. Или, может, ему стыдно за себя. Не знаю. Его жена, Дженни, всегда называет меня Джон Лоури — не Джон и не Джонни, — чтобы почаще напоминать нам обоим, кто я такой. В племени моей матери меня называли Две Ноги. Одной ногой в мире белых, другой — в мире пауни. Но я не разделился пополам, не освоился в обоих мирах. Нет, я остался чужим и тут, и там.

Мать дергает меня за волосы, исступленно, яростно, с неожиданной жестокостью. Я кричу, и она падает на колени, опустив голову. Ровный пробор между ее косами — словно дорога, ведущая вниз. Я касаюсь этой линии, чтобы напомнить матери, что я все еще здесь. Из ее груди вырывается тихий вой, как будто я причиняю ей боль.

— Джон Лоури, — говорит мама и хлопает ладонями по деревянным половицам, словно подчеркивая свои слова.

Белая женщина комкает в руках фартук, а мужчина, сидящий у очага, молчит.

— Джон Лоури. Сын. Джон Лоури, — настаивает моя мать, а я не понимаю, что она пытается этим сказать.

Мне немного знаком язык белых. Мама берет меня с собой, когда ходит на работу к ним в дома и на фермы.

— Сын жить здесь, — решительно требует она.

— Мэри! — восклицает белая женщина и тянет к ней руки.

Я не раз слышал, как другие тоже называли ее Мэри. Мама мотает головой и стонет, повторяя свое имя на языке пауни. Она снова встает и дергает меня за волосы, прямо как детвора в деревне. У меня кудри — у пауни таких не бывает. Я ненавижу свои волосы, но мама никогда раньше так не делала.

— Белый ребенок, — говорит она. — Джон Лоури. Сын. — Мать указывает на моего отца. — Сын.

Я прогоняю эти воспоминания и открываю дверь в лавку отца, больше не оглядываясь, чтобы проверить, осталась ли девушка стоять посреди улицы. В передней части магазина мой отец торгует снаряжением — всем, что необходимо, чтобы запрячь животных в повозку, а на заднем дворе — мулами. Там сооружены загоны и стойла, а на соседней улице стоит двухэтажный дощатый дом — владения Дженни. Мой отец сумел разбогатеть с тех пор, как прибыл в Сент-Джо* с одним ослом, двумя кобылами, тремя детьми и женой, которая была против переезда.

Дженни могла бы выгнать меня. И мою мать тоже. Но она этого не сделала. Я был никому не нужен: ни маминому племени, ни народу отца. Но в доме Дженни меня не презирали, не били и не морили голодом. Она заботилась о нас. О нем. И продолжает заботиться. В хозяйстве все налажено, на столе всегда ждет еда. Отец, в свою очередь, тоже заботится о ней: дает пропитание и кров, принимает решения. Впрочем, точно так же он заботится о мулах и кобылах. Осмелюсь предположить, что они ему больше по нраву.

* Так Сент-Джозеф называют местные жители. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

Отец никогда не бывал с нами жесток, ни разу не поднял руку ни на меня, ни на семью, однако он холоден и молчалив. Раньше я его боялся и старался всегда следить за ним, чтобы держаться на расстоянии.

Я обнаруживаю, что отец один в лавке. Это редкость. Он предпочитает работать с животными. Лерой Перкинс торгует снаряжением, а мы с отцом продаем мулов. На время моего отсутствия ему придется нанять нового помощника. Я буду скучать по лавке. В загонах пахнет хаосом — потом и лошадьми, пылью и навозом, а здесь — порядком, выделанной кожей, маслом и железом. Я втягиваю носом этот чистый аромат и задерживаю дыхание. На выдохе с моих губ срывается вопрос:

— Ты продал мулов человеку по фамилии Мэй?

Отец поднимает на меня нечитаемый взгляд. Мне знакомо это выражение лица. Он думает. У моего отца голубые глаза и красные щеки. В детстве он казался мне огромным, хотя теперь я такого же роста. И такого же телосложения: высокий, широкоплечий, узкобедрый, с длинными ногами, большими ступнями и крепкими руками. Мне не достались его льдистые глаза и соломенные — теперь уже седые — волосы, но двигаюсь я так же, как он. Та же походка. Та же осанка. Я научился быть похожим на него или, может, с самого начала был на него похож. Теперь я уже не боюсь его. Я просто устал жить в его тени.

— С ним, возможно, была дочь, — добавляю я, стараясь, чтобы мое лицо ничего не выдало.

Но, боюсь, отца не проведешь. Его напряженно наморщенный лоб разглаживается.

— Уильям Мэй. С ним была вся его семья. Куча детей, некоторые взрослые, другие помладше, и жена, судя по всему, ждет еще одного.